

*Ким Уилкинс, побудившей меня начать,
и Дэвину Паттерсону, который был со мной
до самого конца*

Тсс... Слышите?

Деревья слышат. Они первыми узнают о его приближении.

Прислушайтесь! Деревья темного, дремучего леса дрожат и шуршат листвой, словно невесомой шелухой из чеканного серебра; лукавый ветер рыщет в их верхушках и шепчет, что скоро начнется.

Деревья знают, ведь они старые и все уже видели.

Луны нет.

Луны нет, когда приходит Слякотник. Ночь натянула пару тонких кожаных перчаток; укрыла землю черной простыней — уловкой, личиной, сонным заклятием, под которым все сладко дремлет.

Темнота, но не полная, ведь у всего есть фактура, нюансы и оттенки. Смотрите: грубая шерсть стгрудившихся лесов, лоскутное одеяло полей, гладкая черная патока рвов. И все же... Если вы не законченный неудачник, то не заметите странное движение в неожиданном месте. И вам определенно повезло. Тот, кто увидит, как поднимается Слякотник, уже никогда не расскажет об этом.

Вон там... Видите? Черный глянцевый ров, полный ила, перестал быть неподвижным. В его самом широком месте вспучился пузырь, побежала едва заметная рябь, всего лишь намек...

Но вы отвернулись! Весьма мудро. Подобные зрелища не для таких, как вы. Обратите лучше внимание на замок, там тоже кое-что движется.

На вершине башни.

Смотрите — и сами увидите.

Юная девушка сбрасывает покрывало.

Ее отправили спать; в соседней комнате тихо похрапывает няня, ей снится мыло, лилии и высокие стаканы теплого молока. Но девушку что-то разбудило; она украдкой садится, перекатывается по чистой белой простыне и спускает ноги, одну за другой; две бледные узкие стопы на деревянных половицах.

Луны нет, не на что смотреть, сплошной мрак, и все же ее тянет к окну. Рябое стекло зазеленело; она забирается на шкаф, усаживается над строем детских книг, в прошлом ее фаворитов, ныне — жертв ее стремления поскорее вырасти; вокруг мерцает морозный ночной воздух. Она подтыкает ночную сорочку под бледные бедра и прижимается щекой к сомкнутым белым коленям.

Мир — снаружи, люди движутся в нем, как заводные куклы.

Однажды она непременно увидит его собственными глазами, ведь замки на дверях и решетки на окнах для того, чтобы не впустить его, но вовсе не для того, чтобы не выпустить ее. Не выпустить мир.

Она слышала истории о нем. Он и сам стал историей. Давней-предавней легендой. А замки и решетки сохранились с тех пор, когда люди верили в подобные вещи. В сказки о чудовищах, которые прячутся во рвах и подстерегают прекрасных дев. В сказки о мужчине, которому в старину причинили зло, и теперь он вновь и вновь мстит за свою утрату.

Юную девушку, которая нахмурилась бы при слове «юная», больше не тревожат детские монстры и небылицы. Она лишилась покоя, она современная, взрослая и отчаянно мечтает сбежать. Ей осточертело это окно и этот замок, однако целую вечность у нее нет ничего другого, и потому она хмуро глядит сквозь стекло.

Там, в складке между холмами, деревня погружается в апатичный сон. Последний ночной поезд вдали уныло оповещает о своем приближении — одинокий зов, остающийся без ответа, и носильщик в жесткой форменной фуражке выходит наружу и подает сигнал. В соседних лесах браконьер выслеживает добычу, и ему не терпится вернуться домой в кровать, а на окраине деревни, в домике с облупившейся краской, плачет новорожденный ребенок.

Совершенно обычные события в мире, где все рационально. Где видишь то, что происходит, и тоскуешь по тому, чего не проис-

ходит. В мире, столь отличном от того, в котором пробудилась девушка.

Ведь внизу, ближе, чем она думала, что-то происходит.

Ров начинает дышать. Глубоко-глубоко, завязнув в иле, влажно бьется сердце мертвеца. Тихий звук, подобный стону ветра, исходит из недр и напряженно парит над поверхностью. Девушка слышит его, то есть ощущает, ведь фундамент замка сливается с илом, и стон сочится сквозь камни, поднимается по стенам, этаж за этажом, неуловимо проникает в книжный шкаф, на котором она сидит. Прежде любимая книга срывается на пол, и девушка в башне ахает.

Слякотник открывает один глаз. Резко, внезапно водит им по сторонам. Возможно, даже тогда он вспоминает о своей утраченной семье? Хорошенькой маленькой женушке и паре пухлых нежных крошек, которых он бросил? Или его мысли уносятся дальше, в детство, когда он с братом бегал по полям среди высоких бледных стеблей; а может, он думает о другой женщине, той, что любила его перед смертью? Лесть и знаки внимания которой, а главное — нежелание смириться с отказом лишили Слякотника всего.

Что-то меняется. Девушка чувствует это и ежится. Прижимает ладонь к ледяному запотевшему стеклу и оставляет отпечаток-звездочку. Она в плену колдовского часа, хотя и не знает, что он так называется. Теперь ей никто не поможет. Поезд ушел, носильщик лежит рядом с женой, и даже ребенок задремал, устав от попыток поведать миру все, чему научился. Не спит только девушка в замке у окна. Ее няня перестала храпеть и дышит так тихо, что кажется замерзшей до смерти. Птицы в замковом лесу тоже умолкли, спрятали головки под дрожащие крылышки, зажмурили веки тонкими серыми черточками, чтобы не видеть того, что грядет.

Не спит только девушка; и еще мужчина, пробуждающийся в иле. Его сердце бьется быстрее, ведь его время настало и продлится недолго. Он вращает запястьями и лодыжками, он поднимается с илистого ложа.

Не смотрите. Умоляю вас, отвернитесь, когда он прорвет поверхность, когда выберется из рва, когда встанет на черном сыром

берегу, поднимет руки и вдохнет. Вспомнит, каково дышать, любить, страдать.

Лучше взгляните на грозовые облака. Даже во тьме видно их приближение. Рокот злобных, сжатых в кулаки облаков. Они кажутся, борются, пока не оказываются над самой башней. Это Слякотник призвал грозу или гроза призвала Слякотника? Никому не ведомо.

В своем укрытии девушка склоняет голову, когда первые капли как бы нехотя разбиваются о стекло и встречаются с ее ладонью. День был ясным, не слишком жарким, вечер прохладным. Ни единого намека на полуночный дождь. Наутро люди с удивлением посмотрят на сырую землю, почешут в затылках и улыбнутся друг другу со словами: «Надо же! Подумать только, мы все проспали!»

Но подождите! Что это? Неясный силуэт, тень взбирается по стене башни. Взбирается невероятно проворно и ловко. Разве человек способен на такое?

Он достигает окна девушки. Они смотрят друг на друга. Сквозь залитое потеками воды стекло, сквозь дождь, зарядивший не на шутку, она видит покрытое грязью чудовищное существо. Она открывает рот, чтобы закричать, позвать на помощь, но вдруг все меняется.

Он меняется у нее на глазах. Сквозь слои грязи, сквозь гнет тьмы, ярости и горя проглядывает человеческое лицо. Лицо молодого мужчины. Забытое лицо. Лицо, полное такой тоски, печали и красоты, что она, не раздумывая, открывает окно и выпускает его из-под дождя.

Раймонд Блайт.

Подлинная история Слякотника.

Пролог

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО НАШЛОСЬ

1992 год

Все началось с письма. Письма, которое давно пропало и полвека ждало в забытой сумке почтальона на мрачном чердаке ничем не примечательного дома в Бермондси. Иногда я думаю о ней, этой сумке: о сотнях любовных писем, счетов из бакалейной лавки, открыток на дни рождения, детских записок родителям, которые лежат все вместе, разбухают и вздыхают, упрямо нашептывая в темноте свои послания. Ждут, ждут того, кто догадается, что они здесь. Знаете, ведь говорят, что письмо обязательно отыщет адресата, что рано или поздно, вопреки всему, слова найдут способ выйти на свет и открыть свои секреты.

Простите, что я впала в романтическое настроение — привычка, приобретенная за годы, когда я с фонариком читала романы XIX века, пока родители были уверены, что я сплю. Просто так странно осознавать, что, если бы Артур Тирелл был чуточку более ответственным, если бы не переборщил с ромовым пуншем в канун Рождества 1941 года, не вернулся бы домой и не завалился бы спать, вместо того чтобы разнести оставшиеся письма, если бы сумку не спрятали на чердаке, где она пролежала полвека до самой его смерти, после чего ее нашла одна из его дочерей и обратилась в «Дейли мейл», все могло бы повернуться иначе. Для мамы, для меня и особенно для Юнипер Блайт.

Наверное, вы читали об этом. Новость попала во все газеты и на телевидение. Четвертый канал даже снял специальную передачу, пригласив несколько адресатов, чтобы поговорить об их письмах — неожиданно зазвучавших голосах из прошлого. Там была

женщина, любимый которой служил в ВВС, и мужчина, которому сын прислал из эвакуации открытку на день рождения. Через неделю мальчика убило осколком шрапнели. Передача мне очень понравилась; ее смонтировали из отдельных частей, счастливые и печальные истории перемежались старыми военными съемками. Пару раз я всплакнула, однако это ничего не значит: у меня часто глаза на мокром месте.

Но мама не пошла на шоу. Продюсеры связались с ней и спросили, не было ли в ее письме чего-то особенного, чем она хотела бы поделиться с нацией, и мама ответила: нет, это был банальный старый счет из магазина одежды, давно прекратившего существование. Она солгала. Мне это известно, потому что я была рядом, когда принесли конверт. Реакцию матери на пропавшее письмо можно назвать какой угодно, только не обычной.

Было утро, конец февраля, зима по-прежнему держала нас за горло, клумбы покрылись льдом. Я зашла помочь с воскресным жарким. Я иногда это делаю, потому что родители его любят, хотя сама я вегетарианка и знаю наперед: во время еды рано или поздно мать начнет беспокоиться, затем страдать и наконец не выдержит и засыплет меня статистикой о протеинах и анемии.

Я чистила в раковине картошку, когда в дверную щель упало письмо. Обычно по воскресеньям нет почты, и это послание должно было насторожить нас, но не насторожило. Что до меня, я слишком беспокоилась о том, как сообщить родителям о нашем расставании с Джейми. Минуло уже два месяца после разрыва; рано или поздно пришлось бы признаться, но чем дольше я пыталась выдать слова, тем тверже они становились. И у меня были причины для молчания: родителям с самого начала не нравился Джейми, они с трудом переносят неудачи, а мама будет волноваться еще сильнее, чем обычно, если выяснится, что я живу в квартире одна. Но больше всего я боялась неизбежной неловкой беседы, которая последует за моим объявлением. Увидеть на лице мамы сначала замешательство, затем тревогу и, наконец, смирение, когда она поймет, что материнский долг требует от нее каких-то утешений... Но вернемся к письму. Что-то тихо упало в щель.

— Эди, сходи, — попросила мать, кивнув в сторону коридора и взмахнув той рукой, на которую не был насажен цыпленок.

Эди — это я. Надо было раньше представиться.

Оставив картошку, я вытерла руки кухонным полотенцем и отправилась в прихожую. На дверном коврике лежало письмо: официальный почтовый конверт, извещающий, что внутри — «пересланная почта». Я отнесла письмо на кухню и прочла надпись маме.

Она уже закончила фаршировать цыпленка и вытирала руки. Слегка нахмурившись, скорее по привычке, чем от дурных предчувствий, она схватила письмо и взяла очки для чтения, нацепленные на ананас в миске с фруктами. Пробежала глазами почтовое уведомление, вздернула брови и приступила к конверту.

Я уже вернулась к картошке, рассудив, что это интереснее, чем наблюдать, как мама вскрывает письмо. Увы, я не видела ее лица, когда она выудила изнутри конверт меньшего размера, оценила хрупкую дешевую бумагу и старую марку, перевернула письмо и прочла имя на обороте. С тех пор я много раз вспоминала, как краска мгновенно схлынула с ее щек, а пальцы задрожали, так что потребовалось несколько минут, чтобы вскрыть конверт.

Особенно мне запомнился звук. За жутким гортанным всхлипом последовали резкие рыдания, заполнившие воздух, и я нечаянно порезала палец картофелечисткой.

— Мама?! — Я метнулась к ней и обняла за плечи, стараясь не запачкать рубью платье.

Однако она ничего не сказала. Позже она объяснила, что лишилась дара речи. Мама неподвижно стояла, заливалась слезами и крепко прижимала к груди странный маленький конверт из такой тонкой бумаги, что я различила внутри краешек сложенного письма. Затем она бросилась наверх в спальню, оставляя за спиной угасающий шлейф инструкций насчет курицы, духовки и картофеля.

После ее бегства кухня погрузилась в болезненную тишину. Я вела себя очень тихо, двигалась очень медленно, стараясь не потревожить ее еще больше. Моя мама не плакса, но этот миг... ее срыв, столь поразивший меня... казался странно знакомым, как будто мы уже проходили через это. Пятнадцать минут я чистила картошку и гадала, от кого могло быть письмо и что теперь делать, затем постучала в дверь спальни и спросила, как насчет чашки

чая. Мама уже собралась с силами, и мы сели друг напротив друга за маленьким кухонным столом с пластмассовым покрытием. Пока я притворялась, будто не замечаю, что она плакала, мать поведала о содержимом конверта.

— Письмо, — произнесла она, — от человека, которого я знала очень давно. Когда была еще девочкой двенадцати-тринадцати лет.

В моей голове вспыхнула смутная картинка: фотография, которая стояла у кровати умиравшей от старости бабушки. Три ребенка, на переднем плане самый младший — моя мать, девочка с короткими темными волосами, на что-то присевшая. Странно, я ухаживала за бабушкой сотню раз или даже больше, но сейчас черты лица той девочки ускользали от меня. Возможно, детей по-настоящему не интересует, как жили родители до их рождения, если только не случится нечто особенное и не прольет свет на прошлое. Я потягивала чай и ждала завершения истории.

— Не помню, я рассказывала тебе о том времени? Шла война, Вторая мировая война. Это была ужасная пора, полная неразбериха, все рухнуло. Казалось... — Мать вздохнула. — Казалось, мир никогда не станет прежним. Будто он слетел с оси и ничто не способно вернуть его на место. — Она обхватила ладонями исходящую паром кружку и заглянула внутрь. — Моя семья — мама, папа, Рита, Эд и я — жила в маленьком домике на Барлоу-стрит рядом с площадью Слон и Замок. На следующий день после начала войны нас, детей, собрали в школе, отвели на вокзал и посадили в поезд. Я никогда этого не забуду... У всех были таблички с именами, маски и ранцы. Матери, успевшие передумать, бежали к вокзалу и умоляли проводника выпустить их детей, а после кричали старшим братьям и сестрам, чтобы те позаботились о младших, следили за ними в оба глаза.

Мгновение мать сидела, покусывая губу, пока эта сцена воскресала в ее памяти.

— Наверное, ты была напугана, — тихо произнесла я.

Среди моих домашних не принято держаться за руки, не то бы я непременно сжала ее ладонь.

— Сначала — да.

Она сняла очки и протерла глаза. Без оправы ее лицо казалось уязвимым, незаконченным, как у маленького ночного животного,

сбитого с толку дневным светом. Я обрадовалась, когда она снова надела очки и продолжила:

— Я никогда еще не уезжала из дома, никогда не ночевала врозь с матерью. Но со мной были старшие брат и сестра, и по мере того как поезд удалялся, а одна из учительниц раздала плитки шоколада, мы начали оживать и воспринимать происходящее почти как приключение. Представляешь? Объявили войну, а мы распевали песни, ели консервированные груши и смотрели в окно, играя в «Угадай, что я вижу?». Знаешь, дети — неунывающий народ, порой даже черствый. Наконец мы прибыли в Кранбрук, где нас разбили на группы и посадили в разные экипажи. Тот, в который попали мы с Эдом и Ритой, отправился в деревню Майлдерхерст. Там нас организованно отвели в большую комнату, к группе местных женщин с застывшими улыбками и списками в руках. Нас построили рядами и заставили стоять, пока местные бродили вокруг, выбирая себе подопечных. Самых маленьких разобрали первыми, особенно хорошеньких. Наверное, считали, что с ними будет меньше возни, раз они меньше пропитаны духом Лондона. — Мать усмехнулась. — Вскоре они поняли, как ошиблись. Моего брата выбрали быстро. Он был крепким мальчиком, высоким для своего возраста, а фермеры отчаянно нуждались в подмоге. Потом взяли и Риту с ее школьной подругой.

Вот оно, начинается. Я положила ладонь на руку матери:

— Ах, мама...

— Ерунда! — Она высвободилась и щелкнула меня по пальцам. — Я была не последней. Оставалось еще несколько ребят... маленький мальчик с отвратительным кожным заболеванием. Не знаю, что с ним случилось, он по-прежнему находился в комнате, когда меня забрали. После я долгие годы заставляла себя покупать подгнившие фрукты, если они попадались под руку в лавке зеленщика. Не вертела и не клала их обратно на полку, если что-то не нравилось.

— Но в конце концов тебя выбрали.

— Да, в конце концов меня выбрали. — Мать понизила голос, теребя что-то на коленях, и мне пришлось наклониться ближе. — Она опоздала. Комната почти опустела, большинство детей разобрали, и дамы из Женской добровольной службы убирали чайную

посуду. Я украдкой начала хныкать. И тут внезапно возникла она, и изменился сам воздух комнаты.

— Изменился?

Я сморщила нос, подумав о сцене из «Кэрри»¹, в которой взрывается лампочка.

— Это трудно объяснить. Тебе когда-нибудь встречались люди, которые словно приносят свою собственную атмосферу, где бы ни появлялись?

Возможно. Я неуверенно пожала плечами. На мою подругу Сару все сворачивают головы; не совсем атмосферное явление, но все же...

— Да нет, конечно, не встречались. Это так глупо звучит. Я имела в виду, что она отличалась от других людей, была более... Сложно описать. Просто более. Странная красота, длинные волосы, большие глаза, довольно дикий вид, но не только это выделяло ее из толпы. В сентябре тридцать девятого ей было всего семнадцать, однако, когда она вошла, остальные женщины словно погрузились в себя.

— От почтительности?

— Вот именно, от почтительности. Удивились при ее появлении и не знали, как себя вести. Наконец одна из них обрела дар речи и поинтересовалась, чем может помочь. Девушка только взмахнула длинными пальцами и заявила, что хочет забрать своего эвакуированного. Так и сказала: не просто эвакуированного, а своего эвакуированного. А потом направилась прямо ко мне, сидевшей на полу. «Как тебя зовут?» — спросила она и, когда я ответила, улыбнулась и предположила, что я, наверное, устала после дальней дороги. «Поживешь у меня?» Вероятно, я кивнула, потому что она повернулась к главной распорядительнице, той, со списком, и сообщила, что берет меня к себе.

— Как ее звали?

— Блайт, — отозвалась мать, подавив едва заметную дрожь. — Юнипер Блайт.

— И это она прислала письмо.

Мама кивнула:

¹ «Кэрри» (1976) — экранизация одноименного романа Стивена Кинга.

— Она подвела меня к самой роскошной машине, какую я встречала в жизни, и отвезла в дом, где жила со своими старшими сестрами-близнецами. Мы проехали сквозь железные ворота по извилистой дорожке и оказались у огромного каменного здания, окруженного густыми лесами. Замка Майлдерхерст.

Название прямо из готического романа. Я поежилась, вспомнив мамин всхлип, когда она увидела имя женщины и адрес на обороте конверта. Я читала истории об эвакуированных, о том, что порой происходило, и в ужасе пролепетала:

— Там было кошмарно?

— О нет, ничего подобного. Вовсе не кошмарно. Совсем напротив.

— Но письмо... Оно заставило тебя...

— Письмо стало неожиданностью, вот и все. Просто давнее воспоминание.

Мать замолчала, и я задумалась о чудовищности эвакуации. Как же, наверное, страшно и странно очутиться ребенком в незнакомом месте, где все совершенно иначе. Я еще не забыла собственных детских переживаний, ужаса новой, пугающей обстановки, цепких привязанностей, порожденных жаждой выживания, — к зданиям, симпатичным взрослым, особым друзьям. При воспоминании об этих нерасторжимых связях меня осенила внезапная мысль:

— Ты вернулась туда после войны, мама? В Майлдерхерст?

Она вскинула глаза:

— Разумеется, нет. Зачем?

— Не знаю. Чтобы наверстать упущенное. Чтобы поздороваться. Чтобы повидаться с подругой.

— Нет! — отрезала она. — У меня была собственная семья в Лондоне, мать не могла без меня обойтись, к тому же было много работы, предстояло навести порядок после войны. Реальная жизнь продолжалась.

С этими словами между нами опустился привычный занавес, и я поняла, что беседа окончена.

Мы так и не поели жаркого. Мама пожаловалась, что у нее нет аппетита, и спросила, не слишком ли я расстроюсь, если мы пропустим этот раз. Казалось жестоким напоминать ей, что я в любом

случае не ем мяса и прихожу, скорее, выполнить дочерний долг. Поэтому я просто заверила, что ничего страшного, и предложила ей прилечь. Она согласилась и, пока я собирала вещи, проглотила две таблетки парацетамола и велела мне закрывать уши от ветра.

Папа, как выяснилось, все проспал. Он старше мамы и несколько месяцев назад стал пенсионером. Это не пошло ему на пользу. В будни он рыщет по дому в поисках чего бы починить или отдрать, сводя маму с ума, а по воскресеньям дремлет в кресле. «Дарованное самим Господом право хозяина дома», — объясняет он любому, кто согласится слушать.

Я поцеловала его в щеку и переступила родительский порог, бросив вызов морозному воздуху. Спустилась в метро, усталая, встревоженная и несколько подавленная перспективой возвращения в чертовски дорогую квартиру, в которой до недавнего времени мы жили с Джейми вдвоем. Только между «Хай-стрит-Кенсингтон» и «Ноттинг-Хилл-гейт» до меня дошло, что мама так и не сказала, о чем говорилось в письме.

ВОСПОМИНАНИЕ ПРОЯСНЯЕТСЯ

Записывая все это, я слегка разочаровываюсь в себе. Но задним умом все крепки, и теперь, когда я знаю, что мне было что искать, легко недоумевать, отчего я не отправилась на поиски. Но я не полная идиотка. Мы с мамой встретились за чаем несколько дней спустя, и хотя я снова не решилась сообщить о своих изменившихся обстоятельствах, я все же поинтересовалась содержанием письма. Она отмахнулась: мол, так, ерунда, немногим больше чем простой привет, а ее реакция дома была вызвана лишь удивлением. Тогда я не догадывалась, что моя мама — умелая лгунья, иначе у меня был бы повод усомниться в ее словах, продолжить расспросы или обратить особое внимание на язык ее тела. Ведь обычно этого не делаешь. Людям инстинктивно веришь, особенно тем, кого хорошо знаешь. Родным я доверяю слепо. Или доверяла.

И потому я на время забыла о замке Майлдерхерст и маминой эвакуации и даже о том странном факте, что она никогда раньше о них не упоминала. Это было довольно легко объяснить, как и большинство вещей, если хорошенько постараться. Мы с мамой неплохо ладили, но никогда не были особо близки и уж точно не вели долгие задушевные беседы о прошлом. Как, впрочем, и о настоящем. Судя по всему, ее эвакуация была приятным, но забываемым опытом, и у нее не было причин делиться им со мной. Одному Богу известно, как много я утаивала от нее.

Сложнее объяснить то странное сильное чувство, которое охватило меня, когда я наблюдала за ее реакцией на письмо, — необъяснимую уверенность, что существует некое важное воспоминание, которое я никак не могу ухватить. Нечто, что я видела или

слышала, но забыла, трепетало в темных уголках памяти, отказываясь замереть и позволить себя разглядеть. Нечто трепетало, и я гадала, изо всех сил стараясь припомнить, не пришло ли много лет назад другое письмо, которое тоже заставило маму плакать. Однако ничего не получалось: обрывки детских впечатлений не желали принимать четкие очертания, и я решила, что, наверное, меня подводит слишком живое воображение, которое, по словам родителей, неминуемо доведет меня до беды, если я не буду осторожна.

В то время у меня были более важные заботы. А именно: где я буду жить, когда оплаченная аренда квартиры истечет. Деньги были внесены за полгода вперед — прощальный подарок Джейми, своего рода извинение, компенсация за недостойное поведение, — но к июню заканчивались. Я прочесывала газеты и витрины агентств по недвижимости в поисках квартир-студий, однако с моей скромной зарплатой найти жилье не слишком далеко от работы оказалось непросто.

Я работаю редактором в «Биллинг энд Браун бук пাবлишерс». Это небольшое семейное издательство здесь, в Ноттинг-Хилле; основано в конце 1940-х Гербертом Биллингом и Майклом Брауном, первоначально — с целью публикации собственных пьес и стихотворений. Когда-то, полагаю, оно было вполне уважаемым, но с течением десятилетий, по мере того как более крупные издательства занимали бóльшую долю рынка, а интерес читателей к авторской литературе падал, нам пришлось ограничиться литературой, которую мы в добродушном настроении называем жанровой, а в менее добродушном — пустой. Мистер Герберт Биллинг — мой начальник, а также наставник, защитник и лучший друг. У меня не так много друзей, по крайней мере из плоти и крови. Я вовсе не страдаю от одиночества, просто я не из тех, кто притягивает друзей или любит находиться в толпе. Я умею обращаться со словами, но только в мыслях, и часто думаю, как чудесно было бы заводить отношения лишь на бумаге. Полагаю, в известном смысле я так и делаю, ведь у меня сотни друзей иного рода, живущих в переплетках, на бесчисленных великолепных печатных страницах, среди историй, которые каждый раз разворачиваются одинаково, но не утрачивают своей прелести, берут за руку и проводят сквозь врата в миры панического ужаса и восторженной радости. Восхитительных, верных, достойных спутников... некоторые из них —

настоящий кладезь мудрых советов... однако, к сожалению, к ним нельзя попроситься пожить на месяц-другой.

Дело в том, что, несмотря на скромный опыт расставаний (Джейми — мой первый настоящий парень, о будущем с которым я мечтала), я подозревала, что пришла пора обратиться за поддержкой к друзьям. Вот почему я вспомнила о Саре. Мы выросли по соседству, и наш дом стал ее вторым домом, когда ее младшие сестры и братья превратились в сущих дикарей и ей понадобилось убежище. Мне льстило, что такая штучка, как Сара, не стала воротить нос от довольно степенного пригородного дома моих родителей, и мы дружили всю среднюю школу, пока Сару в очередной раз не застучали с сигаретой за туалетами и не перевели из математического класса в колледж визажистов. Сейчас она внештатно работает в журналах и кино. Ее успех замечателен, но, к сожалению, означает, что в час нужды подруга находится в Голливуде, превращая актеров в зомби, а ее квартира сдана в поднаем австрийскому архитектору.

Я успела поволноваться, представляя в самых пикантных подробностях, какого рода жизнь мне придется вести без крыши над головой, прежде чем Герберт совершил поистине рыцарский поступок и предложил мне диван в своей маленькой квартирке под нашим офисом.

— После всего, что ты сделала для меня?! — возмутился он, когда я уточнила, уверен ли он. — Ты вытащила меня с самого дна! Спасла меня.

Он преувеличивал. Он вовсе не опускался на дно, но я понимала, что он имеет в виду. Я провела в издательстве всего пару лет и как раз начала присматривать работу поинтереснее, когда мистер Браун скончался. Герберт воспринял смерть партнера так тяжело, что я просто не смогла его бросить. Казалось, у него никого не осталось, кроме пухленькой, похожей на поросенка собачки, и хотя он никогда об этом не говорил, но по характеру и глубине его горя стало ясно, что они с мистером Брауном были не просто деловыми партнерами. Он перестал есть, перестал мыться, а однажды утром до беспамятства упился джином, хотя был трезвенником.

Особого выбора у меня не было: я начала готовить ему еду, конфисковала джин, а когда финансовые дела пошли совсем плохо

и я не смогла пробудить его интерес, прочесала всю округу и нашла новые заказы. Тогда мы и переключились на печать рекламных листовок для местных компаний. Герберт был так благодарен, что значительно переоценил мою мотивацию. Он начал отзываться обо мне как о своей протее и заметно оживлялся, ведя беседы о будущем «Биллинг энд Браун»: как мы с ним перестроим компанию в честь мистера Брауна. Его глаза вновь загорелись, и я еще ненадолго отложила поиски работы.

И вот что я имею. Через восемь лет. К большому изумлению Сары. Такому творческому, умному человеку, как она, который всегда и везде ставит собственные условия, нелегко объяснить, что у остальных людей другие критерии довольства жизнью. Я работаю с людьми, которых обожаю, зарабатываю достаточно денег на пропитание, хотя на квартиру с двумя спальнями в Ноттинг-Хилле все же не хватает, и целыми днями играю со словами и предложениями, помогая людям выразить свои мысли и реализовать мечты о публикации. Кроме того, у меня не самые плохие перспективы. Не далее как в прошлом году Герберт повысил меня до должности вице-председателя; и не важно, что, кроме нас с ним, никто не работает в компании полный день. Мы устроили небольшую церемонию и все, что полагается. Сьюзен, младший сотрудник на полставки, испекла фунтовый кекс¹ и пришла в свой выходной, так что мы втроем пили безалкогольное вино из чайных чашек.

Столкнувшись с угрозой выселения, я с благодарностью приняла предложение Герберта. Это правда было очень мило с его стороны, особенно в свете крохотных размеров его квартиры. К тому же ничего другого мне не оставалось. Герберт был чрезвычайно доволен.

— Великолепно! Джесс будет вне себя от радости, она обожает гостей.

Стало быть, в мае я готовилась навсегда выехать из нашей с Джейми квартиры, перевернуть последнюю, чистую страницу нашей истории и начать новую, свою собственную. У меня была работа, здоровье и куча книг; оставалось только не падать духом,

¹ *Фунтовый кекс* — традиционный кекс, в рецептуру которого входит по одному фунту муки, масла, яиц и сахара.